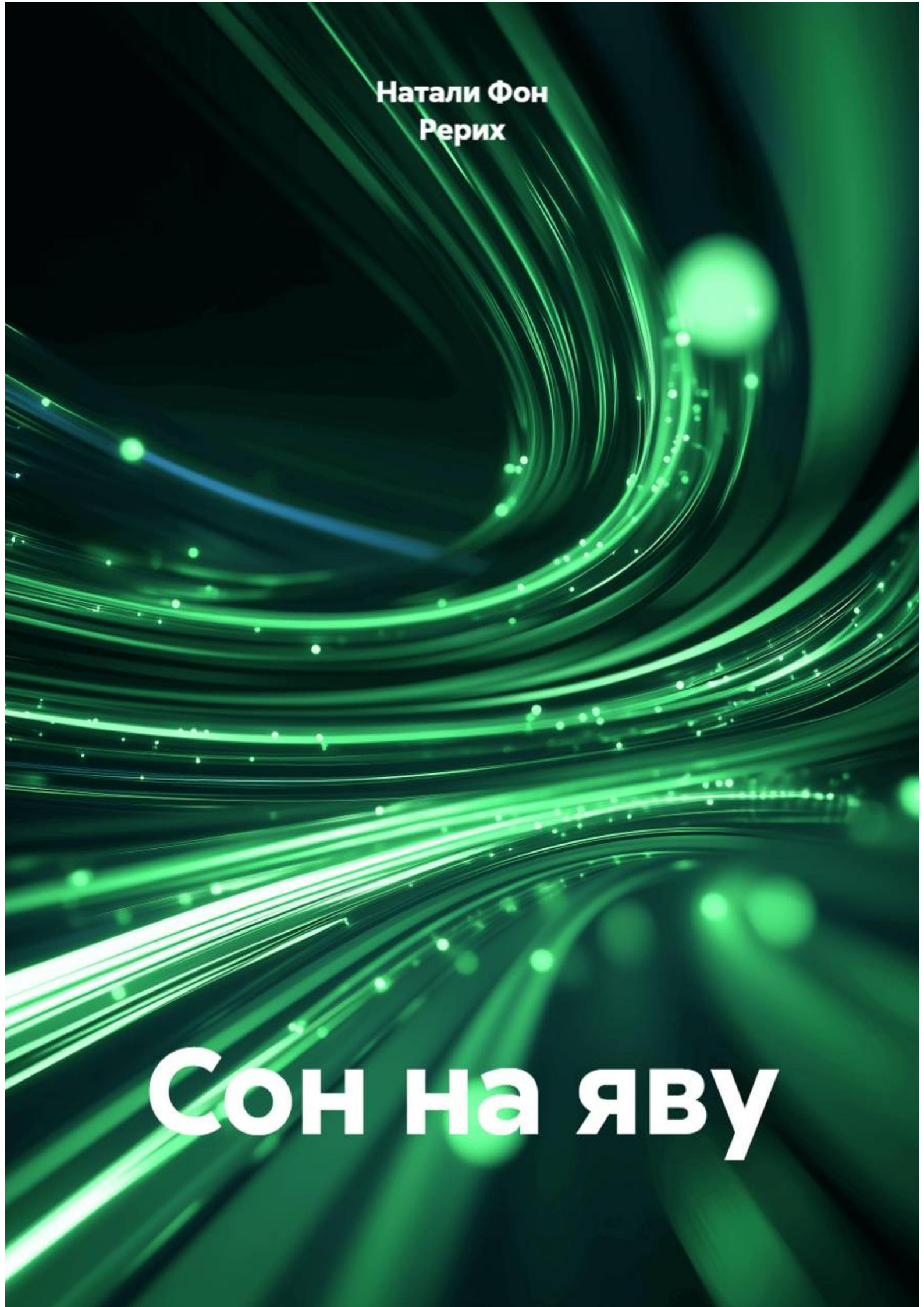


The background of the entire image is an abstract composition of vibrant green light trails. These trails are composed of numerous thin, curved lines that sweep across the frame, creating a sense of dynamic movement and depth. Interspersed among these lines are small, bright green dots and larger, soft, out-of-focus circular glows, reminiscent of distant stars or particles in a nebula. The overall color palette is a range of greens, from deep, dark forest greens to bright, almost white-green highlights, set against a dark, almost black background.

**Натали Фон
Рерих**

Сон на яву

Натали Фон Рерих

Сон на яву

«Автор»

2026

Фон Рерих Н.

Сон на яву / Н. Фон Рерих — «Автор», 2026

Героиня просыпается в Мытищах октябрьским утром — с болью за левым глазом, трещиной в потолке, скрипом батареи и холодным чаем. Но у неё есть и другое: дар, о котором знала ещё прабабушка. В своих снах она не просто видит — она управляет. Там она режиссёр: свет, запах, тепло, отсутствие боли — всё подчиняется её желанию. Там не нужно объяснять себя, договариваться, соответствовать. Там просто есть место, где достаточно быть. Между сном и реальностью — тонкая плёнка, и с каждым утром она становится тоньше. Прабабушка когда-то сказала: «Однажды ты не сможешь проснуться просто потому что там тебе больше нравится, чем здесь». Тогда это казалось предупреждением. Теперь, стоя на перекрёстке с мыслью о ночи, героиня начинает понимать: возможно, это было не предостережение, а описание. Глава — о том, как реальность становится всё более серой и тяжёлой, а сон — всё более необходимым, и о тонкой границе между убежищем и ловушкой, которую человек однажды может не захотеть покидать.

© Фон Рерих Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Натали Фон Рерих

Сон на яву

Глава 1

Глава 1. Там лучше, чем здесь

Я сплю. Это знание приходит раньше всего остального — раньше тепла, раньше запаха, раньше золотистого света, который не мерцает, потому что я не позволяю ему мерцать. Я сплю, и я знаю об этом, и именно поэтому ни за что не открою глаза. Ещё нет. Ещё не сейчас. Пространство вокруг меня плотное, насыщенное — как августовский воздух перед грозой, только без угрозы, только тепло и неподвижность. Свет здесь не сыплется из окна и не бьёт в лицо — он рассеянный, ровный, будто само пространство немного светится изнутри, как фарфор на просвет. Я сделала его таким. Давно, ещё в юности, методом проб — убрала резкие тени, смягчила контуры, нашла ту единственную температуру освещения, при которой кожа выглядит живой, а не усталой. Ни одной случайной детали. Ни единой. Здесь пахнет так, как должно пахнуть. Не «цветами» вообще — это было бы слишком грубо, слишком неточно. Немного сухой древесиной, немного чем-то горьковато-травяным, и под всем этим — едва уловимый запах чистого белья, нагретого на солнце. Того самого солнца, которого за окном нет, потому что я не стала делать здесь окна, выходящие на реальную улицу. Здесь нет Мытищ. Здесь нет никакого города. Я лежу на спине. Руки вдоль тела, ладони обращены вверх — именно так, как мне нравится, когда ничего не нужно держать и никуда не нужно тянуться. Я поднимаю правую руку. Медленно, без намерения — просто интереса ради, как делают это сорок лет подряд и всё равно каждый раз чуть задерживают дыхание. Я поднимаю руку, и пространство мягко откликается: свет чуть смещается, следуя за движением, тепло концентрируется там, где моя ладонь рассекает воздух, — и на секунду мне кажется, что я держу в руке что-то невесомое и горячее, какой-то сгусток собственного же сна. Я опускаю руку обратно, и пространство перестраивается вслед, послушно и беззвучно. Привычно. Как дыхание. Как то, что всегда было и всегда будет. Я не помню, когда это началось — различать, что сон, а что нет. Кажется, я различала это всегда. Прабабушка говорила, что некоторые люди рождаются с тонкой плёнкой между собой и сном, и я одна из таких. Потом она говорила другое — что плёнка может и порваться. Но сейчас я не хочу думать о прабабушке. Сейчас я хочу остаться здесь ещё немного. Ещё совсем чуть-чуть. Тепло укутывает меня с удвоенной силой — или мне так кажется, потому что я это хочу. Здесь невозможно разобраться, где заканчивается желание и начинается исполнение. Это и есть главная роскошь этого места: никакого зазора. Я хочу — и оно уже так. Я представляю — и оно уже здесь. Никаких переговоров, никакого ожидания, никаких компромиссов с реальностью, которая всегда имеет своё мнение и никогда не считает нужным его менять. В реальности всегда холоднее, чем я рассчитываю. Всегда громче. Всегда резче по краям. Здесь — нет. Я могла бы сейчас создать кого-нибудь. Позвать. Это несложно — я делала это сотни раз, и каждый раз получалось именно то, что нужно: нужный голос, нужный жест, нужная интонация в нужный момент. Но сейчас мне не хочется никого. Сейчас я просто лежу в этом золотистом полусвете и слушаю тишину, которую сделала сама, — тишину без машин, без голосов за стеной, без того унылого скрипа батареи, который начинается в октябре и заканчивается в апреле. Тишина здесь тоже другая. Живая. Она не давит, как бывает в реальности в три часа ночи, когда лежишь и слышишь собственное сердце и думаешь: вот оно бьётся, вот оно бьётся, и когда-нибудь перестанет. Нет. Здешняя тишина — это тишина насыщенности, тишина полноты, как после хорошего обеда или после того, как дочитала книгу и просто сидишь, и тебе незачем торопиться. Где-то на краю — там, где пространство начинает истон-

чаться и теряет плотность, — появляется что-то. Не больно. Не сразу. Просто тупое давление за левым глазом — едва заметное, фоновое, как первый звук будильника, который ещё не разбудил, но уже начал разрушать. Я знаю этот сигнал. Он приходит каждое утро, и каждое утро я пытаюсь его не заметить, и каждое утро он всё равно оказывается там — молчаливый, настойчивый, как напоминание о том, что у всего есть цена. Я ещё не думаю об этом. Я убираю его на периферию — так же, как убирала бы лишний источник света или ненужный звук. Здесь это работает. Здесь я умею так. Но сон уже начинает меняться. Не по моей воле — вот в чём дело. Я чувствую это физически: что-то в пространстве становится менее послушным, менее отзывчивым, как будто сигнал стал слабее. Свет чуть теряет ровность. Запах — тот тонкий слой горьковато-травяного — начинает разбавляться чем-то посторонним: холодным воздухом, пылью, едва слышным запахом чужого утра. Реальность тянет меня за щиколотку. Мягко, но неотступно. Она не торопится — она просто есть, и она там, и она ждёт. Я не открываю глаза. Ещё нет.* * * Потолок. Серый прямоугольник с трещиной у левого угла, которую я видела столько раз, что знаю её наизусть — как родинку на чужом лице, которое слишком хорошо знаешь. Я открываю глаза. За шторами — октябрьское утро, то самое, которое не рассвет и не темнота, а что-то в промежутке: белёсое, плоское, без обещаний. Оно просачивается через неплотно сдвинутые шторы — тонкая полоса вдоль пола, ещё одна по краю подушки. Холодный свет. Мытищи. Октябрь. Утро вторника или среды — я сейчас не помню. Пространство вокруг сразу плотное. Материальное. Ни на секунду не даёт забыть, что оно здесь. Запах — первым. Всегда запах: пыль, батарея, слабый след вчерашнего кофе из кухни, и что-то ещё — неопределённое, сырое, то самое, что я мысленно называю «запахом чужого утра», хотя никому никогда не объясняла, что это значит. Чужого не в смысле — не моего. Чужого в смысле — не того. Тело лежит тяжело, как будто я несла что-то всю ночь и только сейчас опустила. Голова болит. Не остро — не так, чтобы зажмуриться или поднести ладонь ко лбу. Просто давление. Тупое, ровное, привычное — левее центра, за глазом, там, где всегда. Я знаю его так же хорошо, как знаю трещину в потолке. Оно появляется каждое утро с такой методичностью, что я давно перестала его отмечать — оно просто есть, как батарея, как октябрь, как серый свет в щели между шторами. Сегодня, правда, чуть настойчивее, чем вчера. Я не встаю. Лежу, смотрю в потолок, и пытаюсь — очень аккуратно, очень медленно, почти не дыша — нащупать что-нибудь из сна. Образ. Запах. Ощущение в ладони — там было что-то тёплое, какой-то свет или вещество, я не помню точно, но я чувствовала его прямо перед тем, как открыть глаза. Или мне кажется, что чувствовала. Ничего. Каждый раз так. Я знаю это, и всё равно каждый раз пробую — с той же безнадёжной надеждой, с какой человек тянется в карман за вещью, которую уже потерял. Там было что-то золотистое, что-то с запахом горьковатых трав, что-то очень тихое и очень плотное одновременно. Я была там. Я только что была там. А сейчас — потолок. Трещина. Серый свет. Давление за левым глазом. Я пробую ещё раз — мысленно тянусь назад, как тянут за уходящим сном, — и в этот момент за стеной просыпается батарея: гулкий металлический щелчок, потом долгий скрип, потом стук — один, другой, третий. Начался. Октябрь начался, и теперь это будет каждое утро до апреля включительно. Сон уходит окончательно. Не уходит даже — его просто нет, как будто никогда и не было. Я лежу. Мне сорок пять лет, у меня квартира в Мытищах, трещина в потолке, батарея с октября по апрель, и тупая боль за левым глазом каждое утро без исключений. Это не жалоба. Это просто инвентарь. И где-то в этом инвентаре — на самом дне, под всем остальным, там, где я держу вещи, которые не нужно трогать без необходимости, — лежит фраза прабабушки. Она всплывает сама, без приглашения, в точности такая, какой была всегда: не размытая, не стёртая временем, а чёткая, как что-то вырезанное.* Однажды ты не сможешь проснуться просто потому что там тебе больше нравится чем здесь.* Я произношу её мысленно — не впервые, не в сотый раз, а в какой-то уже давно несчитанный, — и она проходит сквозь меня ровно, как всегда. Без зацепок. Я давно научилась это делать: слышать её, не задерживаясь. Принять как факт, как предупреждение,

которое уже прочитано и отложено. Не сегодня. Не об этом. Я отодвигаю её в сторону — аккуратно, без усилий, так же, как убираю ненужный свет или лишний звук там, во сне. Здесь этот приём тоже работает. Если не слишком долго на чём-то задерживаться — оно не успевает прорасти. За окном начинает моросить — я слышу это по звуку: мелкий, ровный, осенний. Батарея скрипит. Давление за глазом не уходит. Я ещё лежу. Одну секунду. Ещё одну. * * * Встаю. Тело делает это само — без решения, без намерения, просто потому что так бывает каждое утро и утро уже началось. Ноги на пол, ступни на холодный ламинат, потом встать. Это не я — это мышечная память, выработанная за сорок пять лет. Я ещё где-то немного там, и мне нужно несколько секунд, чтобы снова стать здесь полностью. Иду на кухню. Коридор узкий, два шага, потом поворот. Дверной косяк немного разбух ещё в прошлом году — я каждый раз об этом думаю, когда прохожу мимо, и каждый раз ничего с этим не делаю. Холодильник гудит. Кто-то из соседей сверху уже ходит — мерные, тяжёлые шаги из угла в угол, ритмичные, как маятник. Встали пораньше меня. Живут. Чайник я ставлю на плиту — электрический сломался ещё в августе, газовый надёжнее. Спичка с первого раза, конфорка с шелестом схватывает, голубое кольцо огня. Руки делают всё это без участия головы. Подхожу к окну. Мытищи в октябре в семь утра выглядят именно так, как им и положено: серо, мокро, неохотно. Двор — он почти не виден за стеклом, залепленным мелкой моросью, — движется: кто-то ведёт собаку, кто-то идёт с пакетом, машина выезжает задом из-под арки. Светофор на перекрёстке переключается — я вижу зеленоватый всполох сквозь мокрые ветки. Всё это происходит. Происходит без меня, помимо меня, без малейшего моего участия и без малейшего моего разрешения. Вот что я имею в виду, когда думаю о разнице. Там — я режиссёр. Не в метафорическом смысле, а буквально: захочу убрать этот дождь — уберу. Захочу, чтобы свет лежал иначе — ляжет. Этот серый двор там мог бы быть каким угодно, и деревья могли бы стоять иначе, и даже запах утра я выбираю сама — горьковатый ли, речной ли, с примесью дыма. Я знаю этот механизм изнутри, как знают собственную руку. Мысль — и мир отвечает. Здесь — светофор переключается когда хочет. Я смотрю на двор, и двор не смотрит на меня. Это нормально. Я это знаю. Я давно это знаю — я просто иногда забываю принять как данность, и тогда каждое октябрьское утро немного давит. Не сильно. Достаточно. Чайник начинает погромыхивать — вода пошла. Я беру кружку с сушилки — белая, без рисунка, большая. Насыпаю заварку. Руки снова делают всё сами, пока я стою и смотрю на двор, на светофор, на чужую собаку, которая тянет поводок влево, а хозяин тянет вправо, и непонятно, кто из них упрямее. Чайник свистит. Наливаю. И только тут замечаю, что держу кружку так, будто хочу её раздавить. Пальцы белые от усилия, большой палец прижат к ручке с напором совершенно бессмысленным — она же фарфоровая, она не уйдёт никуда. Я смотрю на эти пальцы секунду. Потом осознанно, отдельным усилием, отпускаю. Не сильно. Просто чуть. В снах мне не нужно следить за собственными руками. Делаю глоток. Чай горячий, немного крепкий, с привкусом осени — это не метафора, это просто такой сорт, купленный на рынке в сентябре, он пахнет чем-то смолистым. Хорошо. Нормально. Я стою у окна, смотрю, как двор просыпается без меня. И тут боль за левым глазом, которая никуда не уходила с самого пробуждения, чуть прибавляет. Не резко — ровно, методично, как кто-то немного довернул винт. Я отмечаю это. Привычно, без паники, примерно так же, как отмечаю, что снова моросит. Давление, левый висок, ближе к надбровью. Семь из десяти? Нет, ещё пять. Пять с половиной. Просто фон, просто утро, просто октябрь. Сколько я уже так это считаю — пять из десяти, семь из десяти, иногда восемь. С какого года. С которого именно утра это стало привычным, а не тревожным. Не помню. Оно просто стало. Я делаю ещё глоток. Там бы я просто убрала это. Это так устроено: достаточно захотеть, достаточно сместить внимание — и боль уходит, как уходит тень, когда переставляешь лампу. Это не обезболивание — это другое. Там вещи подчиняются желанию напрямую, без посредников, без таблеток, без ожидания. Я захотела — и нет боли. Я захотела — и нет дождя. Я захотела — и мир другой. Здесь я стою с кружкой у мытищинского окна, и боль делает что хочет. Светофор снова

переключается. Собака наконец победила — тащит хозяина к дереву. Машина из-под арки не выезжает, видимо, застряла. Стоит, мигает поворотником вхолостую. Я смотрю на это. И что-то похожее на усмешку проходит — не снаружи, просто внутри, одним движением. Не злое. Просто узнавание: вот оно, вот как это устроено здесь. Светофор. Собака. Поворотник без смысла. Никаких режиссёрских полномочий. Никакого пульта. Просто октябрь. Просто кружка в руке — уже не сжатая, уже нормально. Просто боль за глазом, которая никуда не уходит.* *

*Отставляю кружку на подоконник. Чай давно должен был остыть — я не помню, сколько стою здесь, у этого стекла, с этим мытищинским двором за ним. Собаку с хозяином уже унесло куда-то, светофор переключался, наверное, раз двадцать. Машина из-под арки в итоге уехала. Двор живёт без моего участия, как и положено двору. Я смотрю в стену — она белая, слегка желтоватая в утреннем свете, с тонкой трещиной над батареей, которую надо бы заделать уже три года. Смотрю в неё, и позволяю себе вспомнить. Не часто это делаю. Не потому что больно. Просто незачем. Но сейчас — с этой болью за глазом, с этим октябрём снаружи, с этим ощущением, что там было лучше — сейчас, кажется, можно. Мне было лет восемь. Может, девять. Прабабушка сидела в большом кресле с подлокотниками, обитыми вытертым бархатом — таким старым, что уже не поймёшь, какого цвета был изначально. Коричневый? Бордовый? Она сидела прямо, не опираясь на спинку, что я тогда считала странным для очень старого человека. Руки на коленях. Лицо спокойное. Она вообще всегда выглядела так, будто знает что-то, что делает все прочие вещи несущественными. — Ты опять не спала, — сказала она. Не вопрос. Просто констатация. Я стояла в дверях в своей ночной рубашке, босиком, и, наверное, выглядела растерянной — потому что была растерянной. Я только что видела сон. Обычный сон с чудовищем, которое гналось за мной по длинному коридору. И вдруг — прямо в середине этого коридора, прямо в середине страха — что-то щёлкнуло. Как переключатель. Я поняла, что это сон. Прямо там, не просыпаясь, поняла. И тогда — из любопытства, из детской этой смелости, которая ещё не знает, что бывает нельзя — я развернулась к чудовищу. И оно исчезло. Я его убрала. Просто решила, что его нет. И его не стало. Я тогда не знала, что так нельзя. Что так не бывает. Что другие люди не умеют этого. Прабабушка посмотрела на меня долго. Потом кивнула — не мне, скорее какой-то своей мысли. — Садись, — сказала она. — Я расскажу тебе, как это устроено. Она рассказывала спокойно. Без страха, без восхищения — примерно так, как, наверное, объясняют ребёнку, что у него редкая группа крови: это есть, это настоящее, с этим нужно жить, и жить осторожно. Дар. Она употребила именно это слово, без всякой мистики — просто как название: вот это называется «дар». Кому-то достаётся слух, кому-то гибкость, тебе — это. Ты можешь видеть сны как будто по-настоящему. И ты можешь в них всё. — Всё? — переспросила я. — Всё, — подтвердила она ровно. Я тогда не поняла, что именно это означает. Это пришло потом. Вспоминаю первый раз, когда проверила это осознанно — не из страха, как с чудовищем, а намеренно. Не помню, сколько мне было — двенадцать, тринадцать. Приснился зал, большой и пустой, и я стояла в нём одна, и это было чуть тоскливо. Я решила добавить окно. Просто подумала: пусть будет окно. И оно появилось. Высокое, со светом за ним — не конкретным светом, не солнцем над знакомым двором, а просто светом, таким, каким должен быть свет в месте, где хорошо. Я стояла и смотрела на это окно, и в груди было что-то похожее на то, что бывает, когда получается задача, которую долго не мог решить. Чистое, ровное удовлетворение. Потом я убрала дождь. Потом добавила человека — безликого сначала, просто фигуру, просто присутствие. Потом научилась убирать боль. Это самое важное. Боль там не живёт, если я этого не хочу. Там я хозяйка всего — каждой двери, каждого окна, каждого запаха. Там вещи подчиняются желанию напрямую, без посредников, без переговоров, без ожидания чужого решения. Там нет ничего, чего я не разрешила. Прабабушка говорила и о цене. Тоже спокойно, тоже без страха — как говорят о вещи, с которой давно примирились. — Однажды ты не сможешь проснуться, — сказала она, — просто потому что там тебе больше нравится, чем здесь. Тогда я не поняла этого. Мне было восемь или девять, я только что убрала

чудовище из собственного сна, я чувствовала себя всемогущей маленькой девочкой в ночной рубашке — и эта фраза прошла сквозь меня, как сквозь воду, не зацепившись. Просто слова. Взрослое предупреждение из разряда тех, что дети не слышат, потому что ещё не имеют для них контейнера. Сейчас контейнер есть. Сейчас я знаю, что она имела в виду. Почти знаю. Или — знаю ровно настолько, насколько человек может знать о пропасти, которую ещё не пересёк, но уже стоит у края и смотрит вниз, и понимает, что это, в общем-то, недалеко. Это не смерть. Она не про смерть говорила. Она про выбор — про тот момент, когда однажды утром ты просто не захочешь. Не откажешься. Просто не захочешь. И это, наверное, страшнее любой смерти, потому что смерть — это то, что с тобой случается. А это — то, что ты сам делаешь. Я беру кружку. Чай холодный. Совсем — не тёплый, не чуть остывший, а именно холодный, как всё, что долго оставляешь без внимания. Я делаю глоток всё равно. Смолистый привкус, уже без тепла — просто горькая жидкость с запахом осени. Реальность не ждала. Она никогда не ждёт. Трещина над батареей всё та же. Октябрь за окном всё тот же. Боль за левым глазом никуда не делась — тихая, ровная, совершенно не интересующаяся моими воспоминаниями. Пять из десяти. Может, шесть. Просто утро. Просто кружка с холодным чаем в руках. Прабабушки нет уже очень давно. Иногда я думаю: она знала, что именно я выберу. Она не предупреждала — она описывала. Как картограф описывает местность, по которой тебе идти. Вот здесь обрыв. Вот здесь болото. Иди осторожно. Я иду. Пока иду.* * * Дети в порядке. Это первое, о чём я думаю всегда, когда квартира пустая, — что они в порядке, просто не здесь. Это важное различие, хотя по ощущению в комнате разницы нет. Тишина одинакова — что когда не вернулись, что когда вернулись и уснули. Тишина вообще ничего не знает о людях, которые в ней живут. Старший у отца до воскресенья. Младшая у подруги — они вчера договорились, она меня предупредила, я кивнула и уже через час забыла детали. Маршруты их жизней я держу в голове как перечень пунктов, которые надо периодически сверять: живы, в безопасности, накормлены, в школу идут. Всё остальное — подробности, которые они и без меня разберут. Им это не нравится — моя готовность отпустить. Им кажется, что это равнодушие. Я знаю, что это не равнодушие. Я не знаю, как объяснить разницу. Они — якоря. Настоящие. Из тех, что держат не потому что ты их попросил, а потому что они просто есть. Верёвка натянута, и ты знаешь: дёрни — и тебя вытащат. Даже когда они не рядом. Даже сейчас, в этой квартире, где только я и остывший чай и трещина над батареей. Я встаю и иду к окну. Октябрь лежит снаружи плотно — серое небо, серые деревья, два голубя на карнизе соседнего дома. Один из них что-то клюёт. Второй смотрит в никуда. Я их понимаю. Сегодня понедельник. В понедельник у меня всегда что-то есть. Я иду к столу. Ноутбук, папка с документами, блокнот с записями от пятницы — там пункты, подчёркнутые и нет. Апелляционная жалоба, которую я дописывала в субботу и оставила на последней правке. Клиент позвонит к обеду, и к обеду это должно быть готово. Два часа работы, может, три — в зависимости от того, буду ли я в голове или только в тексте. Работа — это тоже якорь, только другого сорта. Не тёплый, не живой — но надёжный. Структура дня держится на ней, как стены держатся на фундаменте. Неважно, что снаружи. Неважно, сколько болит голова. В десять открываешь ноутбук, в час закрываешь. Это помогает. Я юрист уже двадцать лет. Сначала наёмный, потом частная практика — последние восемь лет сама себе хозяйка, что по-своему смешно, если учесть, что хозяйкой я умею быть только в одном месте по-настоящему. В работе я просто точная. Аккуратная. Слежу за сроками, за формулировками, за тем, чтобы слова значили именно то, что я имею в виду, — ни больше, ни меньше. Клиенты ценят это. Некоторые из них звонят в одиннадцать вечера с вопросами, и я отвечаю, потому что всё равно не сплю. Это обходится мне дешевле, чем им кажется, и дороже, чем знаю я сама. Я открываю блокнот. Пункты смотрят на меня. Я смотрю на них. Есть такой момент с утра — не сразу, а минут через двадцать после того, как встала — когда понимаешь, сколько тебя осталось на сегодня. После сна, после кофе, после того, как мозг вернулся в тело и осмотрелся. Сегодня немного. Не мало — именно немного. Достаточно

для работы. Достаточно, чтобы дойти до вечера. На что-то сверх этого — не уверена. Я закрываю блокнот. Иду на кухню за водой. Вот в чём дело с реальностью — и это я понимаю очень ясно, именно сейчас, именно стоя у раковины с кружкой в руке. Здесь никто не принимает меня просто так. Без условий. Без торга. Дети — да, но это другое; дети принимают тебя как мать, то есть в определённой роли, через роль, с ролью, — а не просто как человека, которому холодно и больно и который не знает, что с этим делать. На работе меня принимают как специалиста. Подруга Лена принимает с оговорками, со своим взглядом, со своим мнением о том, что мне надо делать иначе. Это всё любовь, я понимаю. Просто не та. Просто всегда через что-то. Через что-то ещё. Там — по-другому. Там я просто есть, и этого достаточно. Там не нужно объяснять себя, договариваться, соответствовать. Там тепло приходит не потому что ты его заработала, а просто потому что оно есть. Я сама его поставила туда. Я знаю — это важная оговорка, я не забываю её, — но в три часа ночи оговорки ничего не весят. Два брака. Несколько человек, которых я считала близкими. Я не буду перебирать. Это не то утро, и не тот разговор с собой, и я знаю — если начну, уйду в это на час. Просто итог: я научилась не ждать от людей того, чего они не дают. Это не горечь — или не только горечь — это просто адаптация. Биологическая. Разумная. Ты протянул руку, обжёгся, отдёргнул — и больше не тянешь в ту сторону. Это называется опыт. Это называется выжил. Только потом ты обнаруживаешь, что перестал тянуть вообще. Куда угодно. Боль за левым глазом чуть сместилась — не ушла, но переехала немного вглубь, как будто устраивается надолго. Я трогаю висок пальцами. Нажимаю — ненамного легче. Шесть из десяти, наверное. Или пять с половиной, если быть честной, а не паниковать. Это с утра. Это значит — всю ночь работал. Я знаю, что это значит. Я не думаю об этом сейчас — сейчас надо умыться, надо открыть ноутбук, надо дописать жалобу до того, как позвонит клиент. Сейчас надо быть в порядке. Всё остальное — потом. Я иду в ванную. В зеркале — лицо, которое я знаю давно и к которому привыкла: сорок пять лет, утро, чуть припухшие веки, вертикальная складка между бровями, которая не разглаживается даже когда я не хмурюсь. Обычное лицо. Нормальное. Живое. Я открываю кран. Вода холодная — специально, именно холодная, чтобы досчитать до трёх и вернуться сюда окончательно. Один. Два. Три. Реальность не ждёт. * * * Лифт не работает — третий день, по объявлению в подъезде. Я спускаюсь пешком с шестого, считаю ступени не потому что интересно, а потому что голова лучше переносит движение, если есть что считать. Двадцать две, поворот, ещё двадцать две. Лестничная клетка пахнет сыростью и чьей-то жареной рыбой — запах нашёл щель под дверью, выбрался и теперь живёт здесь, на площадке между третьим и вторым. На улице светло. Слишком светло для того, как я себя чувствую — это несправедливость, хотя маленькая и не считающаяся. Я останавливаюсь у подъездной двери, копаюсь в сумке, нахожу очки от солнца. Декабрь, а солнце низкое, режет под козырёк, точно знает куда. Надеваю. В стекле мельком вижу себя — размытое, уменьшенное, как в ложке. Не останавливаюсь. Я уже смотрела в зеркало сегодня — один раз достаточно. Сорок пять лет, утро, куртка, сумка. Человек, который идёт на работу. Боль за левым глазом переместилась чуть глубже — туда, где уже не достанешь пальцами, не нажмёшь, не убедишь уйти. Просто сидит. Устраивается. Я мысленно отодвигаю её на четыре часа — примерно столько нужно, чтобы дописать жалобу, ответить на письма, сделать вид что всё идёт своим порядком. Потом — можно. Потом — домой. Потом — туда. Мысль приходит сама, без приглашения. Привычная, как запах кофе с утра или как то, что сначала — правый ботинок. Сегодня ночью я вернусь. Это не вопрос, это просто — знание. Так же верно, как то, что лифт сломан и солнце режет под козырёк. Это данность. Маршрут. Я иду по тротуару, объезжаю смёрзшуюся лужу с серым льдом по краям. Гололёд с утра, нужно смотреть под ноги. Я смотрю под ноги. И всё-таки что-то сегодня иначе. Я замечаю это не сразу — как замечаешь, что в комнате стало холоднее: сначала просто чуть неудобно, потом понимаешь что форточка открыта. Обычно мысль о ночи приходит с тем, что я бы назвала предвкушением — не радостью, нет, это слишком громко, — но с чем-то тёплым, чем-то, что держит

день в равновесии. Знанием, что есть место, куда можно вернуться. Что там ждёт что-то — кто-то — тёплый и без условий. Сегодня тепла нет. Есть — потребность. Просто потребность. Как жажда. Как то, что надо сделать. Я останавливаюсь на перекрёстке, жду зелёного. Рядом останавливается женщина с коляской — ребёнок спит, мордочкой в воротник, кулачок торчит из-под одеяла. Я смотрю на этот кулачок секунду дольше, чем надо. Потом светофор щёлкает, я перехожу. Потребность. Это другое слово. Я не люблю это слово применительно к снам — оно звучит неправильно. Слишком точно. Тогда оно всплывает. Третий раз за утро, и я это считаю — я всегда считаю, сколько раз она приходит. Обычно — один, редко два, и я убираю её быстро, как убирают со стола то, на что не хочешь смотреть: аккуратно, без лишних движений. Но сейчас что-то не убирается. *Однажды ты не сможешь проснуться просто потому что там тебе больше нравится чем здесь.* Прабабушка говорила это ровным голосом, без интонации предупреждения — так говорят о том, что уже случилось, и только поэтому знают. Я тогда не поняла. Мне было, наверное, девять или десять, и слова казались странными — как можно не проснуться, если хочешь? Я всегда просыпалась когда хотела. Это же я решаю. Я решаю. Я стою на следующем перекрёстке — не помню, как дошла — и понимаю, что стою с ней. С фразой. Просто стою и не убираю. Первый раз за — я не знаю сколько лет, честно. Не потому что не могу убрать. Просто смотрю. *Однажды ты не сможешь проснуться.* Не «не захочешь». Именно не сможешь. Прабабушка умела выбирать слова. Она вообще была точная — в словах, в руках, в том, как смотрела. Я думала: это предупреждение. Мне казалось — она боится за меня. Теперь, стоя на тротуаре с болью за левым глазом, в которой уже не пять с половиной из десяти, а устойчивые шесть, — я думаю: а может, она просто описывала. Без страха. Просто — вот как это работает. Вот куда ведёт. Не пугала, нет. Просто сообщала. Светофор зелёный. Я иду. Потребность. Не предвкушение. Разница между этими словами — маленькая, почти незаметная. Я юрист, я живу словами, я знаю, что маленькая разница в формулировке договора меняет всё. Предвкушение — это я хочу туда. Потребность — это мне надо туда. Это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Я сжимаю ручку сумки. Поправляю очки. Сегодня ночью я вернусь туда. Это по-прежнему так. Это никуда не делось. Там — теплее, там — легче, там — единственное место, где достаточно просто быть. Это правда, и я не собираюсь делать вид, что это не правда. Только сегодня это беспокоит меня. Совсем немного. На один лишний шаг остановки, на одну секунду с фразой, которую обычно убираю. Я поворачиваю на свою улицу. День начался, реальность ждёт — клиент в десять, жалоба до десяти, потом ещё что-то, потом ещё что-то. Всё как всегда. Всё нормально. Всё в порядке. Там лучше, чем здесь. Я это знаю. И именно это сегодня утром — совсем чуть-чуть, в самом краю, там где обычно не смотришь — меня беспокоит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.